

..
Александр Петряков

ЯБЛОНЕВНИЧ С А Д

Я не был там очень давно. Побывать в поселке еще раз мне никогда не хотелось, и если приходили воспоминания, неясные, размытые, такими же и уходили, оставляя какой-то привкус неопределенности и забытой горечи. Казалось, видел я эти места в тревожном и зыбком сне, ушедшем и запертом в темные кладовые незапомнившихся сновидений.

Все же мне пришлось побывать там еще раз, и я думаю, этого мне не забыть уже никогда. Да, мне не хотелось ехать, я и представить себе не мог, что придется, но так случилось, что необходимость, во всех случаях жизни приходящая внезапно и оставляющая без ответа повседневные дела и намерения, догнала меня, забыв даже намекнуть памяти о том, что некогда со мной случилось. Потом я вспомнил, вспомнил все и подробно, но нынче я ехал не обремененный памятью о прошлом и мне было просто беспокойно от какого-то предчувствия и темной ночи, бессонной, одинокой, отбивающей свой мерный ритм колесами поезда. За окном полутемного купе проносились невнятные леса, выдавали себя реки более явственным стуком колес по мостам, мелькали редкие огни полустанков, а там, где поезд останавливался, поскрипывая тормозами и ползгивая сцеплениями, суетились на платформе редкие пассажиры со своим багажом, и яркий вокзальный свет слепил глаза.

Причиной нынешнего ночного путешествия явилась телеграмма не совсем ясного содержания, как и все телеграммы, — их почему-то доставляют с таким несуразным текстом, что престо диву иной раз даешься, а причиной ее была, видимо, болезнь отца, так надо понимать то, что я сейчас сижу в поезде. Хотя, быть может, происходило все не так, как я теперь повествую, наверное, и телеграфного послания не было, равно и стука колес и тревожной ночи, и всего последующего, о чем собираюсь рассказать. Но болезнь отца — точный факт, потому что похороны я помню хорошо и даже при встрече мог бы узнать всех людей, там бывших, правда, их

было немного.

Я хорошо и отчетливо помню этот день. С утра дымка висела в воздухе, влажном и душноватом, словом, день обещал быть обычным для августа: к полудню солнце дробьет ватную оболочку и станет солнечно и тепло. Но сегодня дымка сгустилась до плотных сизых облаков, и пошел вначале мелкий тихий дождь, потом он стал расти и крупнеть, а к полудню, когда двинулись к кладбищу, полил всерьез. Все промокло и поэтому постарались сократить печальный обряд. Дома ждал обильный обед и обязательное возлияние, словом, тризна, как полагается.

Как я уже говорил, народу было мало, да и о них сказать нечего, поэтому с чистой совестью упускаю их из рассказа; скажу только о матеке, лице действующем здесь и весьма, поэтому... да, она была еще молодой, точнее, молодой, ведь ей было сорок пять, для женщины не первая молодость и даже не последний ее приступ. Что в ней было особенно любопытно, так это глаза, какие-то совсем почти прозрачные с желтизной, они могли смотреть прямо не мигая и наводили на душу какой-то туман, морочь, отчего было совершенно не уйти и не отвести взора при разговоре; она, видимо, знала это и пользовалась часто своим царем, если его можно так назвать.

Я обмолвился, что собираюсь упустить и даже с чистой совестью людей, поминавших моего отца, но нельзя, оказывается, без них совсем-то. Люди местные, связанные между собой не только соседской общностью, как это бывает в маленьких городках, а это как раз такой, его верней бы назвать поселком, но еще и религиозная существовала между ними связь. Все, оказывается, были из одной секты, странной какой-то, очень древней, старообрядческой вроде, но и не очень с ней схожей; в общем, если поглубже посмотреть и покопаться до их веры, то может статься она и языческой, хотя, нет, конечно; у христианства такие корни, что едва ли тут обошлось совсем без этого, даже скорей и вывеска была соответственной, только эти-то уделяли больше внимания не изучению Писания и вере как таковой, на чем зиждется всякая религия, а изучению и практике таинств, оборотной, так сказать, стороне распространенного во все века способа

мыслить и чувствовать. Но об этом мы еще поговорим, потому что из-за... Впрочем, ладно, скажу сразу, может это и к месту.

Так вот, в тот день, когда я приехал, отец был еще в памяти и лежал высоко на подушках под самым окном, так ему, видимо, самому хотелось, — давно уже замечено, что умирающие, словно предчувствуя, стремятся слиться с природой и так далее, поэтому последнее желание — это всегда подняться и подойти к окну, выглянуть, что ли, глянуть на светлый Божий мир в последний раз и прочее. Когда он меня увидел, то как бы испугался немного, глаза округлились и стали какими-то жалостливыми, но, видно, поняв, что уж если я рядом с ним, то... Я просидел возле его постели с утра до сумерек и ни разу мне не удалось оказаться с ним с глазу на глаз, а уж я видел, что ему этого очень хотелось; а не удавалось потому, что все время в комнате находилась мачеха или кто-нибудь из соседей, больше всего, конечно, она, ей так хотелось, чтобы мы с ним один на один не оставались, похоже и соседи околачивались в доме по ее просьбе и желанию.

Все же, когда наступили сумерки, августовские, сиреневые, мачеха вышла зачем-то и никого, кроме нас с отцом, в комнате не осталось, он быстро вытащил из-под перины связку писем и шепотом попросил спрятать, что я незамедлительно исполнил; мачехи все еще не было, и отец зашептал снова. Сказал, что письма писала мать, тут же и его ответы на них, а кроме того — он поманил меня ближе — в одном конверте, синем, есть план дома, где мы жили до городка этого, хуторской домик, так ты рассмотри его хорошенько, там указано, где искать...

Только и успел сказать. Вошла его жена, и я так и не узнал, что искать, потому что на заре отца не стало.

Так вот теперь, сидя на чердаке, я разбираюсь в плане, начерченном, точнее начирканном на клочке синей тетрадной обложки. По крыше стучит дождь и слышно, как он по желобку бежит и звонит в говорливую бочку. А внизу все говорят и говорят и не собираются, похоже, расходиться, хотя уже поздно, но ведь ложь идет и никому не хочется выходить в сырую темноту. Неужели они так и просидят до утра, пуга-

весь я, а потом думаю: а какая разница, ведь я уже напросился сюда спать, вот и кровать с пологом от комаров, и бутылка с вином, которую я прихватил с собой, чтобы не скучать. Но что за скука, если мне доверена тайна, которую никак пока не разгадать? Впрочем, решаю вдруг, а не поехать ли завтра на хутор, осмотреть дом и уже на месте во всем как следует разобраться? Идея нравится, я повелеваю себе спать и больше об этом не думать. Сую пачку писем под подушку, ложусь и начинаю засыпать, но вспоминаю кончину и снова бодрствую, прикладываюсь к бутылке и что-то слышу. Потом перестаю слышать, а через некоторое время совсем близко с ухом чья-то крадущаяся рука; я хватаю ее, она вырывается и выхватывает из-под меня подушку; я хочу вскочить и даже нанести удар тому, кто осмелился на меня напасть, но падаю на кровать, получив толчок ловкой маленькой рукой. Что маленькая я чувствую хорошо, не мужская стало быть. Вот опять слышу шаги, теперь явные, не крадущиеся, убегающие. Вскакиваю, зажигаю свечку и вижу, что письма раскиданы, и не разобрать, пропало что или нет. Может, думаю, примерещилось, и это я сам разбросал, когда боролся неизвестно с кем, кого и не было... ведь ночь-то какая... Да, — уже ночь и кажется давно. Дождь перестал, тихо внизу, должно быть спят. Я опять берусь за письма и думаю завтра же, не откладывая, утром поехать на хутор. Еще некоторое время читаю эти удивительные письма, где только и можно понять, что мать сильно любила отца, а он отвечал ей вежливо и везде упоминал о страхе наказания, Божьей воле и, думалось, мать ему была все же безразлична. Отцовских писем, конечно, не было, но из ответов на них матери так все мной понималось. Наконец я уснул.

Проснулся я ранним утром, солнечным и тихим. Еще никто нигде не шевелился. Это было весьма кстати. Тихонько спустился с чердака, вышел на двор, плеснул из рукомойника на столбе холодной воды на ладони и лицо, и так весело стало в груди, так легко и свободно вдруг задышалось, что, оглянувшись вокруг, увидел начинающий местами желтеть лес, фиолетовую ленту реки и сероватую от вчерашнего дождя с темными лужами дорогу, я прошептал: "Боже, как прекрасен этот мир!" Я подошел к яблоне, сорвал краснобокий плод и

надкусил; терпкое и кислое яблоко нектаром таяло за зубами, казалось, лакомее и вкуснее ничего никогда не отведал.

... Я не стал заходить в дом даже для того, чтобы взять в дорогу необходимые вещи, да и перекусить бы тоже не мешало, но нынче было не до того. Взбежав на крыльцо, которое предательски скрипнуло, я схватил висевший тут плащ и стал осторожно, чтобы не скрипнуло снова, спускаться вниз.

Как всегда бывает, самые искренние намерения, самые пылкие желания никогда вовремя не исполняются и если даже начинают исполняться, прерываются на полном скаку. Так и сегодня: не успел я спуститься с лестницы, как отворилась дверь, и на крыльце появилась матека, бодрая и совсем не заспанная, а ведь как я предполагал, было еще очень рано.

- Куда ты? - спросила она и чуть улыбнулась.

... - Так, пройтись, - ответил я и тут же сник, от моего недавнего ликования не осталось и следа; ее желтые глаза впились в мои и не отпускали так долго, что мне стало невыносимо.

- Покушал бы чего сперва, - пропела она, длинно растягивая слова.

- Я... - начал я неуверенно, - я, пожалуй, после, - слабое это сопротивление не вызвало у матеки никакой реакции, она как бы вновь усмехнулась и так глянула, что мне не осталось ничего другого, как подняться на крыльцо, повесить плащ и войти в дом.

Она вошла следом, указала на стол:

- У меня уж все приготовлено, давно поджидаю, когда ты встанешь. ...

Я сел на деревянную некрашеную скамейку не на середину, а с краю, где торчали выступавшие ножки, загнанные в сиденье насквозь. Такие скамейки деревенские я помню с детства и всегда почему-то сажусь на эти неровные квадратные шипы. Яичница с салом шипела и шевелилась. Обжигаясь, ел, стараясь не смотреть в ее сторону, имея прежнюю мысль отправиться на хутор. Шевельнулось давнее воспоминание, пришедшее мне в дороге, в поезде, - мерещилось старое строение и дикий яблоневый сад, это, может, и потому, что яблоко

все еще как бы было во рту, я его чувствовал, несмотря на съеденную яичницу.

Словно угадав мои ощущения, мачеха придвинула блюдо с теми же краснобокими плодами и сказала:

- Вот в чаек хорошо покрошить, так-то есть кисло будет.

Я понял в чем было дело: яблоки стояли рядом, пока я ел, их запах присутствовал во все время завтрака, поэтому мне так и кажется. Все же надо идти, решил я и поднялся.

Но не суждено мне было сегодня отправиться в путь. Едва встал, как дверь отворилась и вошли двое бородатых мужчин, вчерашних сотрапезников. Один из них оказался родственником мачехи, что ли, потому что прямо с порога стал говорить о делах, прямо касающихся ее, да и меня тоже, - ведь я был сыном умершего вчера человека, моего отца. Он сказал, что документы, причем ударение было на втором слоге, о болезни из больницы пропали, поэтому заключения своего врачи не дают, а без заключения, видимо, не выдадут свидетельства о смерти. Так я понял. Но может и не совсем так, потому что мачеха делала глазами и руками знаки, чтоб он замолчал, но вначале он этого не заметил, а когда заметил, то понес вообще что-то невразумительное. Я хотел было уйти, чтоб дать им поговорить, но мачеха вновь усадила меня за стол вместе с пришедшими и поставила бутылку водки; мужики с удовольствием - после вчерашнего - приложились к стаканам, я же пить не стал, несмотря на уговоры.

Тут вдруг как будто что-то произошло за окном, потому что все выскочили, впрочем, я и мачеха прильнули к оконному стеклу, а те двое выскочили; только вот что мы там увидели такого, что заставило нас переполошиться, я теперь уже не помню. Может и померещилось всем сразу, хотя... Ладно. Так я все-таки решил после этого эпизода тут же и бежать на хутор. Но вот беда: у меня как будто всю память отшибло. Утром еще прекрасно представлял себе дорогу, а вот теперь, хоть этого утра прошел какой-нибудь час, мне было так трудно вспомнить, что надо было бы спросить. Но этого-то отец заклинал не делать и подробно рассказал туда дорогу, а я - надо же - позабыл. Да, дорога туда...

Теперь вот, когда вспоминаю, даже не верится, что был там, все нашел и узнал. Увы, как страшно... Но терпение, терпение... По порядку. Тут же вдруг также необыкновенно я понял, что знание о дороге отобрала у меня мачеха своим ненасытным желтым взглядом. И как только понял это, тоже на нее так посмотрел, что она глазищи-то свои спрятала. Вскочил со скамьи, схватил свой плащико и двинулся к выходу. Я слышал позади себя крики и какой-то даже визг, женский, конечно, мачехин, но даже и не подумал обернуться, — несло как на крыльях, и никакие слова и визги не способны были меня теперь удержать.

... Куда я несея? Вскочив на дорогу, вязкую от прибитой дождем пыли, в голубых серебристых лужах, смело полетел вместе с идущими с востока светлыми облаками к своей цели, и никто, никто в целом свете не способен нынче меня запержать! Ура! Свобода! Как-никак, а мачеху я перехитрил, ушел от нее, скрылся, и тайна скоро станет моей и... Вдруг остановился и подумал в недоумении: а какая, собственно, тайна-то, чего лечу на какой-то хутор в надежде отыскать какой-то дом, где что-такое спрятано, от чего я воспряну, а может — наоборот — превращусь в неведомое... Да ведь отец сам об этом просил! Что же ты, сын называется, уж и думать об этом позабыл, как бы и не умирал никто?! Эх ты, бедолага, беги себе, беги дальше. Нет, а все-ж-таки стоц. Куда бегу, знаю: хутор найду и дом, стало быть, тоже, ведь в нем я родился и жил первые свои годы. Только первые пять или шесть, не помню точно. Да, давно я выбыл отсюда в широкий урбанистический мир, и вот теперь вновь с поручением, важным, нужным, необходимым и... Ну нет же, я и план этот позабыл и письма. Все на чердаке осталось. Надо возвращаться. Никуда не денешься. А что скажу мачехе? Куда побежал? Что за дело... любое слово сойдет.

Итак, я все же вернулся. Пришлось, сами понимаете. Забыл. Был, кажется, вечер, когда я, помахивая плащом, подошел к дому. Не могу сказать точно, но как будто смеркалось. Хотя, неужели я целый день бегал по этой дурацкой грязной дороге? Так или иначе, когда я вошел в дом, мачеха следила за мной только одним глазом, полагая, что и

этого с меня довольно, но я-то знал, что она теперь меня побаивается. Выпил, не спросясь у нее, водки, закусил пирогом с морковкой и пошел себя на чердак, даже взглядом не удостоил эту презренную гадину. На чердаке я ничего не нашел, так что напрасно и возвращался. Надо было на авось действовать. На свой, как говорят, страх и риск. Ну что ж, завтра снова выйду на дорогу — и до конца, до самого, как в песне поется, родного дома. А пока посплю.

Ночь снились какие-то дали, неоглядные, голубые и желтые. Удивительная красота при такой пустоте и тишине. — Так и полагается, потому что пейзаж с человеком менее прекрасен. Мне так кажется. Утром лил дождь, идти никуда не хотелось, и я пролежал весь день на чердаке, только один раз спустился поесть. Мачехи в доме не было, куда она подевалась, ума не мог приложить. Да мне было все равно. К вечеру услышал, как она гремела на кухне посудой, но спуститься не стал, не хотелось. Всю ночь почти не спал, днем выспался. Ничего не мог с собой поделаться, все лежал и таранился в темноту. Было жутко и противно от того, что не заснуть. Курил и смотрел на огонек папиросы. И ни о чем больше не думал.

Опять настало утро, опять позднее и дождливое. Я собрал остатки воли, сил, и, преодолевая отвращение, съел всегдашнюю яичницу с салом. За завтраком мачеха заявила, что не пора ли мне собираться домой, не ждут ли меня на работе. Каверзный вопрос. Про работу я и вправду забыл, даже и в голову не приходило, что нужно на работу. Впрочем, у меня были отгулы за колхоз и дружину, так что можно было пока не беспокоиться. Тут же она вспомнила о завещании, по которому мне полагались какие-то деньги, но так как свидетельства о смерти нет, а нет из-за того, что в больнице никак не найдут историю болезни и медицинское заключение о вскрытии, то об этом думать пока что не приходится. Так она и заявила, что денежки я не скоро получу. Я ее выслушал, но ровным счетом ничего не ответил. За деньгами я что ли приехал? А вот почему не найдут историю болезни и результаты вскрытия, так я об этом думаю, что и не найдут никогда, мачехина работа. Украли, потому что... думаю, догадываетесь почему. Вот-вот, совершенно правильно.

Молча поклонился я в знак благодарности за еду и теперь уже твердым шагом и не торопясь поднялся на чердак, взял плащ и сумку; потом спустился вниз, зашел в дом, где никого уже почему-то не было, сгреб прямо в сумку с блюда-гору пирожков со всякой всячиной /а ведь хорошо печет, ничего не скажешь/ и вышел вон. Дорога лежала передо мной прежняя, только луж стало больше и грязи тоже, и дождь поливал изрядный. Я представил себя на этой мокрой пустой дороге и содрогнулся. Но делать нечего. Надо идти. Никуда не денешься. И я пошел.

Голос мачехи за спиной звенел туго натянутой струной, звал и вопил, клал и молил, но я, верный данному слову, и пол-знака не сделал, что слышу и, тем паче, понимаю, а она, вредная... ладно, придется сознаться, что мне пришлось вернуться еще раз, потому что... ну, это и вовсе не важно. Во всяком случае вернусь я ненадолго, чтобы сказать этой гадине все, что о ней думаю. Вот именно: сказать и сделать. Вы-те меня, надеюсь, не осудите, не те, думаю, люди.

И я пришел! Как герой вошел я в этот захолустный хутор, повернул налево, как будто кто нашептывал правильную дорогу, вышел в проулок, и моим глазам предстал дом моего детства! Как я был счастлив в тот момент! О, кто поверит, что можно так растечься, так разлить себе на душу мечту и счастье, ладан, как говорится, и смирну. Но это была только половина дела. Другая приспевала сбоку, — ох, я о ней как-то и призабыл. Вот что. Там говорилось, в письме отцовском, что пропало на чердаке ночью, когда шел дождь, вспомнили? Там говорилось, чтобы искал за стропилой под соломой, там, где они в строении своем соприкасаются. Стропила и солома, солома и стропила... Я осторожно и тихонько стал подниматься на чердак, чтобы никто ничего не увидел и не узнал, а кто бы и мог-то? Тогда мне казалось, что тьма глаз следит за каждым моим движением, как в цирке смотрят на канатоходца. Вот я и у цели. Но почему же чердак открыт? И замок, замок валяется вместе со скобой, вырванный из косяка с мясом. Ай-я-яй. Ну и пройдоха эта мачеха, да и когда только она успела? Ведь теперь-то уж она не смогла, ни за что... никак ей уже... А! Ну да! Конечно, она наведлась сюда, когда я валялся в тот дождли-

вый день и спустился только поест, а ее не было, вот тогда она здесь и побывала. Увы и ах? Нет, а дальше-то что? Может и не нашла она тут ничего? Вперед: Вперед, раздумывать нечего, только вперед! Впереди тоже ничего не сыскалось, потому что солома-то, солома вся из крыши была повыдергана, дергал кто-то не раздумывая, вся как есть с крыши наружу, нет не наружу — внутрь, на чердак то есть выброшена, стропила голые стоят, голые как скелет. А скелет и вправду голый, голее не бывает. Человек, если он даже голый, плотью своей одет, и срам только душа имеет, и то не всякая, а уж скелет... Словом, ничего я не нашел, ничего, хоть бы обрывочек какой бумаги, и то бы легче было. Хоть бы словечко на обрывочке. Но нет как нет. Что теперь прикажете делать? Встал я с соломы раздерганный весь в слезах и даже в соплях от слез, стало быть и сопли мои кричали о такой несправедливости. А что, собственно, я искал-то? Какие-то бумаги, письма, что ли, которые могли пролить какой-то свет, быть может даже мутный, на какие-то несправедливые дела моей маечки? Так она нынче за все наказана. Правда, вот за что — не знаю, мне такого знания пока не дано. Надобно у нее теперь в доме порыскать. С этим помыслом спустился вниз и присел на крылечке. Хотелось есть, — я вытащил из сумки маечкины пирожки и начал было питаться, но вдруг вспомнил, как ее не стало, и померкло в глазах и комок застрял в горле. Ну, зачем, зачем я так поступил? Почему допустил такое злодейство? Не мне бы это делать...

От грусти, тоски даже, двинулся куда попало и шел бы долго, если бы не наткнулся на крапиву и всякий репей и колючки, которые драли штаны и обжигали руки. Я приостановился, осмотрелся. Был вечер, но еще светло, до летних сумерек, а было ясно, было достаточно времени, и я увидел тот самый, что мерещился мне в поезде и потом, тогда за завтраком на другой день похорон, да, тот самый яблоневый сад, такой знакомый, но такой теперь на себя не похожий. Он был так давно запущен, что половина деревьев торчала голыми сучьями, а земля заросла таким густым и непроходимым чертополохом, что и пройти никак нельзя было. Но я рискнул. Я пошел прямо напролом, несмотря ни на что. Да и что мне колючки? Так, пустяк какой-то, если человек идет к цели.

Впрочем, какая же у меня могла быть цель? Да, ну какая? Иду к яблоням, хочу попитаться, вон вижу краснобоженькие, румянянькие висят и так странно, что кажется на голых прямо сучьях, — вот что делает перспектива с человеческим взглядом. Ну и подошел, сорвал. Очень кисло. И оглянувшись. То, что узрел, было удивительным, сказочным даже, трудно поверить, что осуществляется наконец мое желание. Вот что я усмотрел. На ветке яблони, сухой, скрюченной, похожей на большую хищную птичью лапу, я увидел старне в заплатках, некогда серые в полоску, брюки. Я удивился, подошел к ним, и первым делом, как будто мне кто нашептал, залез в карман, правый как будто, и... Тут я остановлюсь и передохну. Сразу так и не скажешь, что я оттуда вытащил. Сейчас, сейчас...

Да, пожалуй теперь я отдышался. В кармане лежали те самые бумаги, те самые, я ничуть в этом не сомневался и не сомневался до сих пор. Правда от дождей они все размокли и разобрать написанное не было никакой возможности, но лежали они, как и говорилось, в синем конверте. Это-то и показалось мне, что они самые и есть. Я вертел их и так и этак, но разобрать ничего не мог — все расплылось одним фиолетовым пятном и лишь кое-где буквы угадывались какими-то неясными белесыми силуэтами. Как ни бился, разобрать ничего так и не сумел.

И ведь подумать только: там, где бессильны глаза, память восполняет картину; и еще, наверное, ярче, чем увидел бы глаза. Той дождливой ночью после смерти отца, когда я долго не мог уснуть из-за разговоров внизу, так я в те разговоры тогда не вслушивался, но в памяти-то они помимо моей воли застряли. Вот что я вспомнил. Разговор шел о каком-то уставе, без которого никак невозможно существование секты, членами которой, по всей видимости, сидевшие внизу и являлись, причем все без исключения, иначе при посторонних-то они не стали бы распространяться. Судя по их головам, они были расстроены пропажей устава, точнее, он хранился у моего отца, как главы и настоятеля секты, а без него, без устава, где было все, вся сила их веры, они и дня не могли да и не хотели прожить. Кроме того, как я мог понять, он содержал сведения о проникновении в поту-

сторонние миры, астральные что ли, и еще рецепт силы воли, указание и руководство творить чудеса и власть. И еще многое другое. Это был своего рода символ власти в их обществе. И они, по навету мачехи, которая им так прямо и объявила, что силу и власть отец хотел передать сыну, то есть мне, постороннему человеку, стали подговаривать друг друга куда-то пойти и что-то поискать. Вот так теперь яено предстала вся картина того ночного вторжения, когда они шарили под подушкой; шарила-то мачеха, ее работа...

Да и еще мать. Мать, вот в чем дело. Я ведь еще не рассказывал, что мать моя пропала без вести. Ушла в лес доить корову и не вернулась. Но они наверняка знали, почему она не вернулась, знали, вся секта знала, поэтому, наверное, еще пуще меня боялись, боялись, что я разыщу в переданных мне письмах какое-нибудь о том свидетельство, а еще пуще — овладею уставом.

Но увы, я не овладел. А они? Может, все же им удалось найти? Там, за строениями... Словно замороженный двинулся к дому, но сад, старый яблоневый сад держал меня и не давал шагнуть: ноги цеплялись за колючки и заплетались в высоченном чертополохе и густой траве, сухие, скрюченные и узловатые ветви яблонь держали крепко за воротник пиджака, а брюки, которые я обнимал и где нашел синий конверт, оказались прибитыми гвоздем к стволу и напрасно я дергал их к себе в страхе и ужасе от их, как мне казалось, одушевленной силы.

И тут я вспомнил мачеху, да... о ужас... У меня встали дыбом волосы, бежать уже никуда не хотелось. Все вдруг поплыло перед глазами, замелькали часто и страшно сухие сучья, глянул больно огромный глаз колючки, не отвести стало никуда глаз, никуда, ни в какую сторону не могли идти ноги, я рухнул на землю и корчился и выл, выл и стонал; слез не было, но такая тоска и боль, такая невыразимая пустота и неоглядная темная даль в душе явились и не уходили, что лучше бы этого никогда и ни с кем не случилось. Никогда и ни с кем, сказал, но ведь с каждым это случается, с каждым. Но только однажды. Это... сами знаете, что это.

С первыми же проблесками сознания я вытащил из брешь
ремень, перебросил через самый толстый сук, сунул голову
в хранящий еще тепло моего живота круг и...

Но ко мне уже бежали люди. Зачем?

////////